



А.П.ЧЕХОВ

Избранные
произведения
в трех томах

ИЗДАТЕЛЬСТВО
•ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА•
МОСКВА • 1964

А.П.ЧЕХОВ

Избранные
произведения
том второй

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1888-1896

ИЗДАТЕЛЬСТВО
•ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА•
МОСКВА • 1964

*Тексты произведений печатаются по изданию
«А. П. Чехов, Собрание сочинений в 12 томах.
Гослитиздат, М. 1960».*

*Оформление художника
М. Шлобберга*

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ПРИПАДОК

I

Студент-медик Майер и ученик Московского училища живописи, ваяния и зодчества Рыбников пришли как-то вечером к своему приятелю студенту-юристу Васильеву и предложили ему сходить с ними в С — в переулок. Васильев сначала долго не соглашался, но потом оделся и пошел с ними.

Падших женщин он знал только понаслышке и из книг, и в тех домах, где они живут, не был ни разу в жизни. Он знал, что есть такие безнравственные женщины, которые под давлением роковых обстоятельств — среды, дурного воспитания, нужды и т. п. вынуждены бывают продавать за деньги свою честь. Они не знают чистой любви, не имеют детей, не правоспособны; матери и сестры оплакивают их, как мертвых, наука третирует их, как зло, мужчины говорят им «ты». Но, несмотря на все это, они не теряют образа и подобия божия. Все они сознают свой грех и надеются на спасение. Средствами, которые ведут к спасению, они могут пользоваться в самых широких размерах. Правда, общество не прощает людям прошлого, но у бога святая Мария Египетская считается не ниже других святых. Когда Васильеву приходилось по костюму или по манерам узнавать на улице падшую женщину или видеть ее изображение в юмористическом журнале, то всякий раз он вспоминал одну историю, где-то и когда-то им вычитанную: какой-то молодой человек, чистый и самоотверженный,

полюбил падшую женщину и предложил ей стать его женою, она же, считая себя недостойною такого счастья, отравилась.

Васильев жил в одном из переулков, выходящих на Тверской бульвар. Когда он вышел с приятелями из дому, было около одиннадцати часов. Недавно шел первый снег, и все в природе находилось под властью этого молодого снега. В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварах — все было мягко, бело, молодо, и от этого дома выглядели иначе, чем вчера, фонари горели ярче, воздух был прозрачней, экипажи стучали глуше, и в душу вместе со свежим, легким морозным воздухом просилось чувство, похожее на белый, молодой, пушистый снег.

— «Невольню к этим грустным берегам, — запел медик приятным тенором, — меня влечет неведомая сила...»

— «Вот мельница... — подтянул ему художник. — Она уж развалилась...»

— «Вот мельница... Она уж развалилась...» — повторил медик, поднимая брови и грустно покачивая головою.

Он молчал, потер лоб, припоминая слова, и запел громко и так хорошо, что на него оглянулись прохожие:

— «Здесь некогда меня встречала свободного свободная любовь...»

Все трое зашли в ресторан и, не снимая пальто, выпили у буфета по две рюмки водки. Перед тем как выпить по второй, Васильев заметил у себя в водке кусочек пробки, поднес рюмку к глазам, долго глядел в нее и близоруко хмурился. Медик не понял его выражения и сказал:

— Ну, что глядишь? Пожалуйста, без философии! Водка дана, чтобы пить ее, осетрина — чтобы есть, женщины — чтобы бывать у них, снег — чтобы ходить по нем. Хоть один вечер поживи по-человечески!

— Да я ничего... — сказал Васильев смеясь. — Разве я отказываюсь?

От водки у него потеплело в груди. Он с умилением глядел на своих приятелей, любовался ими и завидовал. Как у этих здоровых, сильных, веселых людей все уравновешено, как в их умах и душах все закончено и

гладко! Они и поют, и страстно любят театр, и рисуют, и много говорят, и пьют, и голова у них не болит на другой день после этого; они и поэтичны, и распутны, и нежны, и дерзки; они умеют и работать, и возмущаться, и хохотать без причины, и говорить глупости; они горячи, честны, самоотверженны и, как люди, ничем не хуже его, Васильева, который сторожит каждый свой шаг и каждое свое слово, мнителен, осторожен и малейший пустяк готов возводить на степень вопроса. И ему захотелось хоть один вечер пожить так, как живут приятели, развернуться, освободить себя от собственного контроля. Понадобится водку пить? Он будет пить, хотя бы завтра у него лопнула голова от боли. Его ведут к женщинам? Он идет. Он будет хохотать, дурачиться, весело отвечать на затрагивания прохожих...

Вышел он из ресторана со смехом. Ему нравились его приятели — один в помятой широкополой шляпе с претензией на художественный беспорядок, другой в котиковой шапочке, человек не бедный, но с претензией на принадлежность к ученой богеме; нравился ему снег, бледные фонарные огни, резкие черные следы, какие оставляли по первому снегу подошвы прохожих; нравился ему воздух и особенно этот прозрачный, нежный, наивный, точно девственный тон, какой в природе можно наблюдать только два раза в году: когда все покрыто снегом, и весною в ясные дни или в лунные вечера, когда на реке ломает лед.

— «Невольно к этим грустным берегам, — запел он вполголоса, — меня влечет неведомая сила...»

И всю дорогу почему-то у него и у его приятелей не сходил с языка этот мотив, и все трое напевали его машинально, не в такт друг другу.

Воображение Васильева рисовало, как минут через десять он и его приятели постучатся в дверь, как они по темным коридорчикам и по темным комнатам будут красться к женщинам, как он, воспользовавшись потемками, чиркнет спичкой и вдруг осветит и увидит страдальческое лицо и виноватую улыбку. Неведомая блондинка или брюнетка, наверное, будет с распущенными волосами и в белой ночной кофточке; она испугается света, страшно сконфузится и скажет: «Ради бога, что вы делаете! Потушите!» Все это страшно, но любопытно и ново.

Приятеля с Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли в переулок, о котором Васильев знал только понаслышке. Увидев два ряда домов с ярко освещенными окнами и с настежь открытыми дверями, услышав веселые звуки роялей и скрипок — звуки, которые вылетали из всех дверей и мешались в странную путаницу, похожую на то, как будто где-то в потемках, над крышами, настраивался невидимый оркестр, Васильев удивился и сказал:

— Как много домов!

— Это что! — сказал медик. — В Лондоне в десять раз больше. Там около ста тысяч таких женщин.

Извозчики сидели на козлах так же покойно и равнодушно, как и во всех переулках; по тротуарам шли такие же прохожие, как и на других улицах. Никто не торопился, никто не прятал в воротник своего лица, никто не покачивал укоризненно головой... И в этом равнодушии, в звуковой путанице роялей и скрипок, в ярких окнах, в настежь открытых дверях чувствовалось что-то очень откровенное, наглое, удалое и размахистое. Должно быть, во время оно на рабовладельческих рынках было так же весело и шумно, и лица и походка людей выражали такое же равнодушие.

— Начнем с самого начала; — сказал художник.

Приятеля вошли в узкий коридорчик, освещенный лампою с рефлектором. Когда они отворили дверь, то в передней с желтого дивана лениво поднялся человек в черном сюртуке, с небритым лакейским лицом и с заспанными глазами. Тут пахло как в прачечной и, кроме того, еще уксусом. Из передней вела дверь в ярко освещенную комнату. Медик и художник остановились в этой двери и, вытянув шеи, оба разом заглянули в комнату.

— Бона-сэра, сеньеры, риголетто-гугеноты-травия-та! — начал художник, театрально раскланиваясь.

— Гаванна-таракано-пистолето! — сказал медик, прижимая к груди свою шапочку и низко кланяясь.

Васильев стоял позади них. Ему тоже хотелось театрально раскланяться и сказать что-нибудь глупое, но он только улыбался, чувствовал неловкость, похожую на стыд, и с нетерпением ждал, что будет дальше. В две-

рях показалась маленькая блондинка лет семнадцати — восемнадцати, стриженная, в коротком голубом платье и с белым аксельбантом на груди.

— Что ж вы в дверях стоите? — сказала она. — Снимите ваши пальты и входите в залу.

Медик и художник, продолжая говорить по-итальянски, вошли в залу. Васильев нерешительно пошел за ними.

— Господа, снимайте ваши пальты! — сказал строго лакей. — Так нельзя.

Кроме блондинки, в зале была еще одна женщина, очень полная и высокая, с нерусским лицом и с обнаженными руками. Она сидела около рояля и раскладывала у себя на коленях пасьянс. На гостей она не обратила никакого внимания.

— Где же остальные барышни? — спросил медик.

— Они чай пьют, — сказала блондинка. — Степан, — крикнула она, — пойди скажи барышням, что студенты пришли!

Немного погодя в залу вошла третья барышня. Эта была в ярко-красном платье с синими полосами. Лицо ее было густо и неумело накрашено, лоб прятался за волосами, глаза глядели не мигая и испуганно. Войдя, она тотчас же запела сильным, грубым контральто какую-то песню. За нею показалась четвертая барышня, за нею пятая...

Во всем этом Васильев не видел ничего ни нового, ни любопытного. Ему казалось, что эту залу, рояль, зеркало в дешевой золотой раме, аксельбант, платье с синими полосами и тупые, равнодушные лица он видел уже где-то и не один раз. Потемок же, тишины, тайны, виноватой улыбки, всего того, что ожидал он здесь встретить и что пугало его, он не видел даже тени.

Все было обыкновенно, прозаично и неинтересно. Одно только слегка раздражало его любопытство — это страшная, словно нарочно придуманная безвкусица, какая видна была в карнизах, в нелепых картинах, в платьях, в аксельбанте. В этой безвкусице было что-то характерное, особенное.

«Как все бедно и глупо! — думал Васильев. — Что во всей этой чепухе, которую я теперь вижу, может искутить нормального человека, побудить его совершить страшный грех — купить за рубль живого человека?

Я понимаю любой грех ради блеска, красоты, грации, страсти, вкуса, но тут-то что? Ради чего тут грешат? Впрочем... не надо думать!»

— Борода, угостите портером! — обратилась к нему блондинка.

Васильев вдруг сконфузился.

— С удовольствием... — сказал он, вежливо кланяясь. — Только извините, сударыня, я... я с вами пить не буду. Я не пью.

Минут через пять приятели шли уже в другой дом.

— Ну, зачем ты потребовал портеру? — сердился медик. — Миллионщик какой! Бросил шесть рублей так, здорово живешь, на ветер!

— Если она хочет, то отчего же не сделать ей этого удовольствия? — оправдывался Васильев.

— Ты доставил удовольствие не ей, а хозяйке. Требовать от гостей угощения приказывают им хозяйки, которым это выгодно.

— «Вот мельница... — запел художник. — Она уж развалилась...»

Придя в другой дом, приятели постояли только в передней, но в залу не входили. Так же как и в первом доме, в передней с дивана поднялась фигура в сюртуке и с заспанным лакейским лицом. Глядя на этого лакея, на его лицо и поношенный сюртук, Васильев подумал: «Сколько должен пережить обыкновенный, простой русский человек, прежде чем судьба забрасывает его сюда в лакеи? Где он был раньше и что делал? Что ждет его? Женат ли он? Где его мать и знает ли она, что он служит тут в лакеях?» И уж Васильев невольно в каждом доме обращал свое внимание прежде всего на лакея. В одном из домов, кажется в четвертом по счету, был лакей, маленький, тщедушный, сухой, с цепочкой на жилетке. Он читал «Листок» и не обратил никакого внимания на вошедших. Поглядев на его лицо, Васильев почему-то подумал, что человек с таким лицом может и украсть, и убить, и дать ложную клятву. А лицо в самом деле было интересное: большой лоб, серые глаза, приплюснутый носик, мелкие, стиснутые губы, а выражение тупое и в то же время наглое, как у молодой гончей собаки, когда она догоняет зайца. Васильев подумал, что хорошо бы потрогать этого лакея за волосы: жесткие они или мягкие? Должно быть, жесткие, как у собаки.

Художник, оттого что выпил два стакана портеру, как-то вдруг опьянел и неестественно оживился.

— Пойдемте в другой! — командовал он, размахивая руками. — Я вас поведу в самый лучший!

Приведя приятелей в тот дом, который, по его мнению, был самым лучшим, он изъявил настойчивое желание танцевать кадрили. Медик стал ворчать на то, что музыкантам придется платить рубль, но согласился быть *vis-à-vis*. Начали танцевать.

В самом лучшем было так же нехорошо, как и в самом худшем. Тут были точно такие же зеркала и картины, такие же прически и платья. Осматривая обстановку и костюмы, Васильев уже понимал, что это не безвкусица, а нечто такое, что можно назвать вкусом и даже стилем С — ва переулка и чего нельзя найти нигде в другом месте, нечто цельное в своем безобразии, не случайное, выработанное временем. После того как он побывал в восьми домах, его уж не удивляли ни цвета платьев, ни длинные шлейфы, ни яркие банты, ни матросские костюмы, ни густая фиолетовая окраска щек; он понимал, что все это здесь так и нужно, что если бы хоть одна из женщин оделась по-человечески или если бы на стене повесили порядочную гравюру, то от этого пострадал бы общий тон всего переулка.

«Как неумело они продают себя! — думал он. — Неужели они не могут понять, что порок только тогда обаятелен, когда он красив и прячется, когда он носит оболочку добродетели? Скромные черные платья, бледные лица, печальные улыбки и потемки сильнее действуют, чем эта аляповатая мишура. Глупые! Если они сами не понимают этого, то гости бы их поучили, что ли...»

Барышня в польском костюме с белой меховой опушкой подошла к нему и села рядом с ним.

— Симпатичный брюнет, что ж вы не танцуете? — спросила она. — Отчего вы такой скучный?

— Потому что скучно.

— А вы угостите лафитом. Тогда не будет скучно.

Васильев ничего не ответил. Он помолчал и спросил:

— Вы в котором часу ложитесь спать?

— В шестом.

— А встаете когда?

— Когда в два, а когда и в три.

— А вставши, что делаете?

— Кофий пьем, в седьмом часу обедаем.

— А что вы обедаете?

— Обыкновенно... Суп или щи, биштекс, десерт. Наша мадам хорошо содержит девушек. Да для чего вы все это спрашиваете?

— Так, чтоб поговорить...

Васильеву хотелось поговорить с барышней о многом. Он чувствовал сильное желание узнать, откуда она родом, живы ли ее родители и знают ли они, что она здесь, как она попала в этот дом, весела ли и довольна, или же печальна и угнетена мрачными мыслями, надеется ли выйти когда-нибудь из своего настоящего положения... Но никак он не мог придумать, с чего начать и какую форму придать вопросу, чтоб не показаться нескромным. Он долго думал и спросил:

— Вам сколько лет?

— Восемьдесят, — сострила барышня, глядя со смехом на фокусы, какие выделывал руками и ногами плясавший художник.

Вдруг она чему-то захохотала и сказала громко, так, что все слышали, длинную циническую фразу. Васильев оторопел и, не зная, какое выражение придать своему лицу, напряженно улыбнулся. Улыбнулся только один он, все же остальные — его приятели, музыканты и женщины — даже и не взглянули на его соседку, точно не слышали.

— Угостите лафитом! — опять сказала соседка.

Васильев почувствовал отвращение к ее белой опушке и к голосу и отошел от нее. Ему уж казалось душно и жарко, и сердце начинало биться медленно, но сильно, как молот: раз! два! три!

— Пойдем отсюда! — сказал он, дернув художника за рукав.

— Погоди, дай кончить.

Пока художник и медик кончали кадрили, Васильев, чтобы не глядеть на женщин, осматривал музыкантов. На рояле играл благообразный старик в очках, похожий лицом на маршала Базена; на скрипке — молодой человек с русой бородкой, одетый по последней моде. У молодого человека было лицо не глупое, не испитое, а, на-

оборот, умное, молодое, свежее. Одет он был прихотливо и со вкусом, играл с чувством. Задача: как он и этот приличный, благообразный старик попали сюда? отчего им не стыдно сидеть здесь? о чем они думают, когда глядят на женщин?

Если бы на рояле и на скрипке играли люди оборванные, голодные, мрачные, пьяные, с испытанными или тупыми лицами, тогда присутствие их, быть может, было бы понятно. Теперь же Васильев ничего не понимал. Ему вспоминалась история падшей женщины, прочитанная им когда-то, и он находил теперь, что этот человеческий образ с виноватой улыбкой не имеет ничего общего с тем, что он теперь видит. Ему казалось, что он видит не падших женщин, а какой-то другой, совершенно особый мир, ему чуждый и непонятный; если бы раньше он увидел этот мир в театре на сцене или прочел бы о нем в книге, то не поверил бы...

Женщина с белой опушкой опять захохотала и громко произнесла отвратительную фразу. Гадливое чувство овладело им, он покраснел и вышел.

— Пойдем, и мы идем! — крикнул ему художник.

IV

— Сейчас у меня с моей дамой, пока мы плясали, был разговор, — рассказывал медик, когда все трое вышли на улицу. — Речь шла об ее первом романе. Он, герой, — какой-то бухгалтер в Смоленске, имеющий жену и пятерых ребят. Ей было семнадцать лет, и жила она у папаши и мамы, торгующих мылом и свечами.

— Чем же он победил ее сердце? — спросил Васильев.

— Тем, что купил ей белья на пятьдесят рублей. Черт знает что!

«Однако же вот он сумел выпытать у своей дамы ее роман, — подумал Васильев про медика. — А я не умею...»

— Господа, я ухожу домой! — сказал он.

— Почему?

— Потому, что я не умею держать себя здесь к тем же мне скучно и противно. Что тут веселого? Хоть о

люди были, а то дикари и животные. Я ухажу, как угодно.

— Ну, Гриша, Григорий, голубчик... — сказал плачущим голосом художник, прижимаясь к Васильеву. — Пойдем! Сходим еще в один, и будь они прокляты... Пожалуйста! Григорианц!

Васильева уговорили и повели вверх по лестнице. В ковре и в золоченых перилах, в швейцаре, отворившем дверь, и в панно, украшавших переднюю, чувствовался все тот же стиль С — ва переулка, но усовершенствованный, импонирующий.

— Право, я пойду домой! — сказал Васильев, снимая пальто.

— Ну, ну, голубчик... — сказал художник и поцеловал его в шею. — Не капризничай... Гри-Гри, будь товарищем! Вместе пришли, вместе и уйдем. Какой ты ског, право.

— Я могу подождать вас на улице. Ей-богу, мне здесь противно!

— Ну, ну, Гриша... Противно, а ты наблюдай! Понимаешь? Наблюдай!

— Надо смотреть объективно на вещи, — сказал серьезно медик.

Васильев вошел в залу и сел. Кроме него и приятелей, в зале было еще много гостей: два пехотных офицера, какой-то седой и лысый господин в золотых очках, два безусых студента из Межевого института и очень пьяный человек с актерским лицом. Все барышни были заняты этими гостями и не обратили на Васильева никакого внимания. Только одна из них, одетая Аидой, искоса взглянула на него, чему-то улыбнулась и проговорила зевая:

— Брюнет пришел...

У Васильева стучало сердце и горело лицо. Ему было и стыдно перед гостями за свое присутствие здесь, и гадко, и мучительно. Его мучила мысль, что он, порядочный и любящий человек (таким он до сих пор считал себя), ненавидит этих женщин и ничего не чувствует к ним, кроме отвращения. Ему не было жаль ни этих женщин, ни музыкантов, ни лакеев.

«Это оттого, что я не стараюсь понять их, — думал он. — Все они похожи на животных больше, чем на лю-